

БОЛЬШАЯ ЛИТЕРАТУРА

ПРОЗА ДАВИДА МАРКИША

ДАВИД МАРКИШ

САХАРНАЯ
КОГУРА



МОСКВА  2016

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М26

Оформление серии *С. Прохоровой*

Иллюстрация на переплёте *Л. Кузнецовой*

Иллюстрации в блоке текста *С. Диманд*

Ранее книга выходила под названием «Пёс»

Маркиш, Давид.

М26 Сахарная конура / Давид Маркиш. — Москва :
Издательство «Э», 2016. — 352 с. — (Большая ли-
тература. Проза Давида Маркиша).

ISBN 978-5-699-87674-7

Этот роман впервые был опубликован в 1984 году за рубежом. Но складывается ощущение, что написан он сейчас – настолько точно отражены актуальные проблемы современной действительности. Всё в нём узнаваемо, точно и афористично. Он о судьбе молодого писателя, вынужденного покинуть родину.

Как бы удобна и свободна ни была жизнь за границей, юный Вадим Соловьёв мечтает вернуться в СССР. Вена, Рим, Париж, Нью-Йорк, Иерусалим – прекрасны эти города, но делать там Вадиму нечего... Единственное, что он может и хочет, это жить счастьем и болью своей родины, пропускать сквозь свою душу всё, что с ней происходит, и писать об этом. Как верный пёс, отовсюду стремится он домой, искренне веря, что его родная конура по сравнению с чужбиной будет сахарной. А вот возможно ли возвращение? И принесёт ли оно Вадиму желанное счастье?

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Маркиш Д.П., 2016

© Оформление.

ООО «Издательство «Э», 2016

ISBN 978-5-699-87674-7



Конура

Трудно, а то и вовсе невозможно установить, кем, когда и при каких обстоятельствах московское жилище Вадима Соловьёва было названо — Конура. В одном, правда, не приходится сомневаться: определяющее это слово соскочило с языка одного из бесчисленных приятелей Вадима, а никак не недруга, потому что недругов у него не было вовсе. Кому-то взбрело на ум ляпнуть с глубокомысленным видом, что-де личность должна быть окружена недругами, а иначе она и не личность, а некое рядовое серячество-среднячество, ни два, ни полтора. Чуть всё это, красивые разговоры. Кому из нас, интересно знать, ведомо, что должно быть, а чего быть не должно? Тем более в рассуждении духовных оценок. Так-то...

Недрузгов не было у Вадима Соловьёва, не было и друзей. Некоторые из десятков приятелей представлялись Вадиму в иной час теснейшими товарищами, а другие из тех же приятелей виделись вдруг злобными и отчаянными врагами. Но все эти сполохи Вадимова темперамента вскоре меркли и затушёвывались; внезапные друзья и враги возвращались в ряды симпатичных приятелей, оставляя в памяти возбуждающе саднящие и бесследно заживающие царапинки.

В само это словечко — Конура — не было вложено автором ничего от отталкивающего изначального смысла: вот, мол, вонючая собачья нора, грязная, вся в ключьях слежавшейся шерсти и огрызках жёлтых костей, а сам хозяин, Вадим Соловьёв, — угрюмый цепной пёс. Совсем наоборот. Безымянный автор, подметив некоторое сходство между Вадимовой подвальной берлогой и пёсьим дощатым домом, нарёк первую Конурой в знак всяческого и безоглядного одобрения. Да, затхлый подвал — точь-в-точь собачья конура, и это очень хорошо, а радушный хозяин — да, пёс, Пёс Михалыч Соловьёв, и это просто замечательно. Все мы, мягко выражаясь, псы в большей или меньшей степени.

Что же до сходства жилищ Вадима Соловьёва и беспардонного какого-нибудь Полкана — то оно было несомненно. В подвальной Вадимовой комнатёнке, где он, вопреки закону, проживал без прописки, было и грязно, и сумрачно, и заплёвано,

САХАРНАЯ КОНУРА

а разошедшийся по всем швам пружинно-волосяной диван вонял то ли клопами, то ли псиной. Да, может быть, и псиной, — потому что до Вадима в подвале проживал художник-нонконформист, эмигрировавший в Израиль, и у этого художника, кажется, была какая-то собака. Собаку художник увёз с собой в тёплые края, а диван оставил Вадиму. Вместе с диваном он бросил в подвале обломки чугунного стана для прокатки литографий и старинный краснодеревянный шкаф без дверец, без полок и без той палки, на которую цепляют вешалки со штанами и пиджаками. В разрушенный шкаф с пробивающимися кое-где языками благородного пламени Вадим свалил зимнее пальто и другую запасную одежду, две простынки, подушку и четыре стопки перевязанных верёвочками книг. Расхожий твидовый пиджак Вадим повесил на вбитый в стену крюк, на котором висела раньше картина в тяжёлой раме. Пишущей машинке новый хозяин долго не мог подыскать подходящего места и наконец поместил её в крохотной кухоньке, на единственном в подвале столе.

За два года, прошедших с отъезда художника, Вадим оброс необременительным хозяйством. На обломки стана были уложены доски — получился вполне удобный стол для еды и работы, и машинка переехала из кухни в комнату. Появился застланный спальным мешком топчан для ночующих гостей. Появилась полка для книг, две картины знакомых худож-

ников на стенах и цветной плакат, на котором была изображена маленькая девочка, разгуливающая с брудастым сенбернар по швейцарской полянке, на фоне снежных гор. Этот плакат был подарен Вадиму не случайно: Вадим Соловьёв, Пёс Михалыч, боялся собак так же панически и люто, как иные люди боятся змей или крыс. Эта несокрушимая боязнь служила поводом к шуткам: Вадиму подбрасывали бездомных щенят, дарили гавкающие игрушки. Кто-то из приятелей подметил — и довольно точно, — что сам Вадим похож на молодого дога и лицом, и повадкой, и походкой и что именно по этой причине сложилась такая его нелюбовь к четвероногим сородичам. Вадим, родства не помнящий... Сенбернар на лужайке был подарен безобидной шутки ради. Да и подвал, теперь оборудованный и обжитой, был назван Конурой тоже, быть может, ради той же шутки.

А холодильник здесь был и ни к чему, потому что Вадим Соловьёв никогда в жизни ничего не запасал впрок, даже на один день. «В тот день, когда человек задумывается о завтрашнем дне, он перестаёт быть человеком и превращается в муравья», — говорил Вадим, объясняя отсутствие запасов в своём подвале. Всё, что можно было съесть и выпить, выпивалось и съедалось без остатка хозяином и его приятелями сразу по принесении из магазина, — будь то пельмени, водка или хлеб с плавленым сыром «Новый», который был бы похож на мыло, если

САХАРНАЯ КОНУРА

бы мылился и давал пену. Повторяя этот афоризм и противопоставляя запасливого муравья самому себе — независимому прозаику и свободному художнику, — Вадим Соловьёв, разумеется, слегка грешил против истины: в дальнем углу кухни, под батареей, хранились четыре цибика цейлонского чая, который извлекался оттуда без свидетелей и заваривался вдумчиво — перед тем, как садиться Вадиму за машинку и начинать писать. Об этом безобидном тайнике, кроме самого Вадима, знала Наташа, жившая с Вадимом в подвале почти постоянно вот уже полгода. Но, обнаружив припасённый чай кто-либо из посторонних приятелей, Вадим смутился бы до покраснения лица и до слёз: нищий, но независимый, он желал оставаться в глазах окружающих принципиальным до кончиков ногтей. Желание его было столь энергично, что, даже шаря под батареей, заваривая и вдыхая терпкий цейлонский аромат, он не позволял себе усмехнуться над своими принципами и как бы похлопать их фамильярно по плечу: садитесь, мол, принципы, за стол да выпьем-ка по стаканчику чайку, припасённого по причине дефицита и неуверенности в завтрашнем дне. Вадим предпочитал опасно не думать над отклонением от собственных правил, механически списывая нарушение по графе «для пользы дела»: он был уверен, что крепкий хороший чай помогает ему сосредотачиваться над машинкой. Впрочем,

быть может, это была только привычка, от которой он не собирался отказываться. Во всяком случае, получая удовольствие от вкусного горячего чая, Вадим и не собирался задумываться над причинами своей тайной запасливости.

Наташа, появившаяся в подвале полгода назад, незаметно сменила собою Таню, продержавшуюся здесь месяца четыре и тихо перешедшую к Вадимову приятелю Гольденферду. Гольденферду пробило уже тридцать — он был старше Вадима на пять лет. Он завершил период свободного и независимого бездомничания, работал теперь младшим редактором в молодогвардейском журнале «Сельская жизнь» и жил в однокомнатной квартире в Лобне, под Москвой. А Таня была славной, милой девушкой и нравилась Гольденферду... Он женится на ней почти безраздумно, она родит ему чудесного здорового ребёнка, а на седьмом году счастливого внешне замужества выбросится в кухонное окно лобненской квартиры и разобьётся насмерть об асфальт дороги. Гольденферд переживёт самоубийцу на четверть века и умрёт нестарым ещё мужчиной в Мельбурне, куда его забросит очередная волна эмиграции из России. Сын его от первого брака забудет родной язык.

Наташа была не хуже и не лучше Тани — такая же самоотверженная, преданная Вадиму и влюблённая в свободную литературу русская девушка. Похожая

САХАРНАЯ КОНУРА

и внешне на свою предшественницу, Наташа, войдя в Конуру и в жизнь Вадима, словно бы заняла там точно ту часть пространства, что занимала прежде Таня. Небольшого роста — куда короче длинного и костлявого Вадима, немногословная и неназойливо деятельная, она сделалась как бы частью Вадимовой Конуры — такой же приятной и естественной частью, какою был там и сам Вадим. Надо сказать, что и Таня была там так же к месту.

К работе, или, как любил её называть с оттенком уважительной иронии Вадим, к ремеслу своего друга Наташа относилась с благоговением, как к чуду. Они никогда не обсуждали между собой ни строчки, вышедшей из Вадимовой пишущей машинки: рассказы и наброски Вадима Наташа принимала безоговорочно, как, скажем, лунную дорожку на море, на которую следует молча смотреть, но которую не следует описывать, потому что лучше вот этих двух слов: «лунная дорожка» — всё равно не придумаешь. Что же до прозы Вадима, то она была не столь плоха, чтоб о ней многословничать, и не столь хороша, чтоб о ней вовсе молчать, не произнося ни звука.

Деньги в жизни Вадима не занимали никакого места, им не было отведено ни уголка, ни полочки в полупустом шкафу Вадимова быта. И не потому, что их не было у него вовсе; нет, деньги водились. Гонорар капал то за перевод с подстрочника какого-то никому не известного татарина или нанайца, то за ответы

на письма читателей какого-нибудь толстого литературного журнала, а то и за маленькую рецензию где-нибудь в «Знамени» или в «Дружбе народов». Когда деньги появлялись, Вадим знал точно, что вот они, лежат тоненькой пачечкой в заднем кармане брюк или, смятые в ком, в боковом кармане. А когда они кончались, выструившись до капли, как родник, из тёмной глубины кармана, — тогда и говорить было не о чем. Но Наташа, и до неё и Таня и ещё другие, более отдалённые — все они принимали посильное участие в хозяйственной жизни Конуры. Наташа, например, служила корректором в газете «Речник», и её зарплаты с грехом пополам хватало на каждодневное жевание. За подвал Вадим, естественно, не платил, поскольку не был там прописан. Подвал, где очень хорошо было играть в жмурки даже без повязок, числился нежилой художественной мастерской МОСХа и располагался под ветхим, облезшим и обсыпавшимся трёхэтажным домиком на Самотёке прошловековой постройки. Сложили этот теремок, как видно, сразу после знаменитого московского пожара 1812 года, когда жилищная проблема обострилась. А может, бывший этот особнячок даже и перестоял пожар, и как раз в его огне дал многочисленные трещины, разбежавшиеся по кирпичным стенкам по всем направлениям... Углублённый же в землю наподобие могилы подвал остался, надо полагать, в стороне от политических и стихийных

САХАРНАЯ КОНУРА

потрясений эпохи. Спускаясь в подвал в 1812 году или в 1917 году, либо просто за холодным пивком, обитатели дома со стеснённым сердцем вступали словно бы в преддверие преисподней и на время прерывали связь с не всегда лёгкой, но привычной жизнью на поверхности земли. Всякое добровольное углубление в недра тревожно и волнительно.

Подспудно тревожился и Вадим, впервые спускаясь по тёмной и узкой, с выщербленными и вытертыми ступенями лестнице в подвал, который при всяком повороте российской истории вполне сгодился бы для расстреливания людей. Но время и камень точит, и в третье или четвёртое посещение художника-нонконформиста он уже привык и не обращал внимания ни на разбойную эту лестницу, ни на мрачные стены, подходящие для нацарапывания на них последних сообщений и проклятий, ни на низкий сводчатый потолок, способный надёжно глушить и душить всякий звук — будь то хлопок выстрела, или выстрел пробки из ствола шампанской бутылки, или бессвязное бормотание поспешной любви.

Вселившись в подвал после отъезда художника, Вадим ничего не собирался там менять и переустраивать. На своё новое и случайное жилище Вадим смотрел как на временную остановку в тёплом и довольно приятном местечке, ему, Вадиму, не принадлежащем. Оно, собственно говоря, было ничейным — всякий человек мог прийти сюда, по-

селиться и жить, и он оказался бы здесь на равных правах с Вадимом Соловьёвым. Тот факт, что Вадим получил ключ от подвала из рук последнего законного жильца, художника, не имел никакого значения. Любой желающий мог донести на Вадима — вот, мол, живёт человек в центре Москвы без прописки, — и Вадим был бы выселен, и его неприятности на этом только бы начались. Донести прежде других мог бы, разумеется, дворник — но дворник не был приписан ко двору кирпичной развалюшки, да и двора-то не было никакого, а был то ли какой-то полупустырь, то ли укромная площадка для прогулок кошек и собак. Управдом — тот уже обязан был донести, но и он не представлял опасности, поскольку власть его распространялась на несколько пятиэтажных многоквартирных домов, а этот бывший особнячок давно уже предназначался на снос, и управдом туда не заглядывал, чтоб не выслушивать жалобы законных жильцов на протёкшие потолки и лопнувшие трубы.

Таким образом, московское житьё-бытьё Вадима было вполне налаженным; трёхкомнатные родительские хоромы он вспоминал нечасто и с недоброй ухмылкой, отчасти оттого, что там жили тучные супруги Соловьёвы, отчасти же оттого, что помещались эти хоромы в городе Киеве: Киев он не любил, да и родителей тоже. Отец, Михаил Матвеевич Соловьёв, представлялся ему ничтожеством с учёной

САХАРНАЯ КОНУРА

степенью доктора философских наук, в вечносинем костюме английского шевиота, из-под которого нагло и в то же время жалко выглядывала украинская сорочка с кисточками, расшитая цветами и петухами. Перед обедом, потирая пухлые веснушчатые ручки, Михаил Матвеевич неизменно выпивал стопку горилки с перцем — хотя спиртного не любил и всерьёз никогда не пил. В ресторане, распинаясь в любви к украинской кухне, заказывал галушки — хотя терпеть их не мог, как и всю украинскую кухню. Сидя в гостях или на второстепенном совещании, он мог вдруг, ни с того ни с сего, замурлыкать что-то вроде «Сижу я в темнице та думку гадаю, — чому я не сокол, чому не летаю» — хотя песен не любил, а украинской литературой не интересовался... Все эти уловки наперечёт были известны студентам Института связи, где Михаил Матвеевич руководил кафедрой марксизма-ленинизма, и сеяли сомнения в душах сообразительных хлопцев и девчат: а не примазывается ли профессор? А не Соловейчик ли он? А не Мойше ли Мордкович?

Вадим знал об этих сомнениях, но не знал о том, что есть-таки у нашего забора двоюродный плетень, что затесался-таки в родословную Соловьёвых еврей, а то и два. С материнской ветвью дело обстояло ещё круче: бабка Вадима, мать Веры Семёновны, была киевской еврейкой и погибла в Бабьем Яру. В немецкую комендатуру её отвёл, в соответствии